

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ



Чернокашце
СКАЗАНИЕ
О МЕРТВЕЦЕ

Александр Козлов

**Чернокапище.
Сказание о мертвеце**

«Автор»

2026

Козлов А.

Чернокапище. Сказание о мертвеце / А. Козлов — «Автор»,
2026

В глухом краю — Чернокапище, где земля помнит каждую пролитую кровь, а мертвые не всегда остаются в могилах, жил мужик по имени Демьян — работающий, честный, любимый женой и самой землей. Но зависть, пустившая корни в сердцах его двоюродных братьев, обернулась предательством, и Гиблая поляна приняла тело невинно убиенного. Казалось, на этом все и кончится: вдова оплачет свое, убийцы заживут припеваючи, а правда ляжет в сырую землю вместе с покойником. Но Чернокапище — не то место, где зло остается безнаказанным. Когда отчаянный зов любящей женщины долетает до Черного Зыбуна, в дело вступает та, кто блюдет равновесие между мирами, — чародейка Ядвига. И тогда из могилы поднимается тот, кто уже не принадлежит ни живым, ни мертвым. Начинается расплата, от которой содрогнется вся округа. Визуальное оформление обложки выполнено при поддержке ИИсервисов «Алиса Про» и GigaChat.

© Козлов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Дом у Черного колодца	9
Глава 2. Дарьюшка-хозяюшка	13
Глава 3. Воскресный день	17
Глава 4. Зависть	21
Глава 5. Вещий сон	25
Глава 6. Братья по крови	29
Глава 7. Гиблая поляна	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Александр Козлов

Чернокапище. Сказание о мертвеце

Пролог

*Ой, молчи, земля, молчи,
Не гуди по нем в ночи.
А когда придет пора —
Отомстит он до утра.*

Земля в Чернокапище никогда не спит.

Не выдумка то и не бабья присказка, какой детей малых страшат на ночь глядя. Правда все это. Такая же простая и неотвратимая, как и то, что солнце встает на востоке, а река течет к морю.

Земля здесь живая. Не в том смысле, в каком живут растения или звери, а в другом, древнем. О нем люди забыли, как только пахать да сеять научились. Она дышит, ворочается, слушает и помнит.

А еще — ждет.

Всегда ждет. Даже когда наверху тихо: поля колосятся, бабы воду из колодцев набирают и смеются, мужики с покоса вернулись и моются у бочек, а потом кличут жен ужинать.

Даже тогда земля здесь не спит. Дремлет, но не спит.

Этой весной она пробудилась раньше срока — еще до того, как сошел с полей снег. А снег в тот год держался долго, уходить не хотел, лежал в оврагах серыми ноздреватыми пластами и только к Егорию нехотя отступил, обнажив землю, черную, мокрую, дышащую прелью, сыростью и... тревогой.

Так пахнет только в те годы, когда что-то случиться должно. Старики выходили поутру на завалинки, вдыхали полной грудью, хмурили брови и, ничего не сказав, в избы возвращались. Знали они этот запах. Знали и молчали.

Чернокапище — край, забытый картами, летописями и людьми. Леса здесь темные, болота бездонные, дороги уводят в никуда — обратной тропы не сыскать. В колодцах — память, в оврагах — дыры. А на проклятых местах, в черном кругу выжженной земли, ни травинки, ни былинки — с той поры, как первая кровь землю обожгла.

Небо здесь низкое, ночи длинные и тягучие. Петухи поют не к рассвету — к беде; песня их хрипая, надсадная, по всей деревне разносится. Старухи, слышав ее, крестятся да шепчут молитвы.

В деревне тем утром никто ничего не заметил. День выдался как день: серый, скупой на солнце, с ветром, что с востока тянул, от Могильника. Пахло гарью — где-то далеко, за болотами, горели торфяники, и горький дым с туманом вперемешку окутывал дворы и огороды.

Бабы у колодца переговаривались вполголоса, кутались в платки, жаловались на ломоту в костях. Мужики чинили упряжь, курили самокрутки да в грязь сплевывали. Дети гнали гусей к протоке. Ничего на первый взгляд необычного.

И только один человек в тот день пробудился с чужим холодом в груди.

Глаза он открыл не от света — солнце еще не встало, — а от тишины. Не от той, что стоит в избе перед рассветом: сонной, уютной, с посапыванием жены и мерным треском половиц. От другой — густой и глубокой, как вода в колодце.

Тишина стояла в избе, и в ней все звуки приглушались. Сверчок за печью онемел, мыши не скреблись в подполе, ветер за окном стих, и яблоня у крыльца не шуршала ветвями. Даже

лампада перед иконой Богородицы, что неустанно потрескивает в ночи, горела беззвучно. Все застыло, будто перед чьим-то неслышным шагом.

Он лежал недвижно и слушал, как рядом дышит жена. Дыхание ее, как всегда, ровное и теплое. Знал этот звук лучше любого другого: все такой же, как и вчера, как месяц назад, как годом раньше.

Но холод уже сидел внутри — под самым сердцем, чужой и липкий, точно мокрая глина, что к груди протянулась и отпускать не хотела. Растекался по коже медленно, толчками, в такт сердечному стуку. От него немели кончики пальцев и першило в горле — как перед дальней дорогой, когда еще не знаешь ее конца.

Демьян машинально потер грудь ладонью, но тут же одернул руку. Пальцы вдруг повлажнели, словно он в воду их опустил. Поднес ладонь к глазам. Ничего. Кожа сухая. А ощущение сырости не проходило. Вместе с ним пришел запах. Не глины и не простой земли, а древнего чего-то, глубинного и неживого — того, чему и названия-то не знал.

Встряхнулся Демьян, как пес после дождя, огляделся. Пора за дело браться: скотину накормить, печь растопить, Дарьюшку разбудить. Сбросил с себя дерюжку, встал, потянулся до хруста в костях. Подошел к лохани с водой, смочил руки и шею, плеснул несколько пригоршней себе в лицо. Вот и сырость та, что на ладони спросонья чудилась, бесследно прошла.

Жил себе Демьян и не тужил. Землю пахал, другим помогал, женку любил. Не знал за собой ни греха тяжкого, ни долга неоплатного, ни врага черного. Не разумел читать знаки тайные, не верил в дурные сны и не слушал старух-ведуний. Зато в землю верил, но не в ту, что дышит и помнит все бывшее, а в ту, что хлеб насущный из года в год рождает. Верил в руки свои — широкие, мозолистые, что деревом да сеном пахли, в жену свою Дарьюшку и в день завтрашний.

А того Демьян-пахарь не ведал, что земля всех поименно помнит. Слышал только, далеко от дома его, посреди болота непроходимого, что Черным Зыбуном в народе зовется, высится терем из мореного дуба. В тереме том Ядвига-чародейка живет поживает. Одни величают ее Хозяйкой Чернокапища, другие ведьмой кличут, а третьи и вовсе имени ее не называют из страха призвать ненароком. А старухи, что в девках с ней еще гуляли, шепчутся меж собой, дивуются: ни годочка не прибавилось Ядвиге — все так же молода и статна, краше утра майского, глаз не отвести.

В тот же час, как Демьян веки ото сна разомкнул, пробудилась и Ядвига — не от крика петушиного, не от света утреннего, а от дрожи земной, что издалека шла, от шагов простого пахаря тянулась. Синий камень на ее посохе забился чаще, частит-торопится — в такт сердцу дальнему, что не ведает еще, куда его зовут.

Ядвига подошла к оконцу резному, раздвинула узорчатые ставни и вгляделась в белесую мглу. Над болотом мгла белесая клубится, а в ней очертания нездешних мест проступают. Поляна дикая, мшистая, стволы кривые, корявые. А промеж них из сырой земли пальцы чело-вечи торчат, белеют; на одном из них, безымянном, колечко медное блеснуло...

А день начинался как обычно, и земля Чернокапищенская дышала чаще прежнего, тяжело ворочалась во сне своем вековечном. И с каждым выдохом ее круги расходились все шире по белому свету. А то, что у Демьяна холодом смертным в груди сидело, явилось первым из тех кругов — самым слабым, дальним, еще невидимым для глаз людских.

Пока Демьян умывался, водица студеная в лохани помутнела, потемнела, сделалась на деготь похожа. Пока кобылу свою гнедую запрягал, старые курганы на Могильнике глиной осыпались. По комку, по крошке мелкой у подножия самого древнего из них собралась целая горсть, темная и влажная, точно слеза горячая.

Ему невдомек, что на Гиблой поляне что-то отозвалось тихим утробным стоном. Голос этот с ветром смешался и полетел над полями широкими, лесами дремучими, всей деревней спящей.

И уж совсем он знать не мог того, что петух его огненный, горластый, с гребнем, на заре угольком вспыхивающим, прокричал нынче не к рассвету, а к беде — хрипло, надсадно, похоже на плач младенца безутешный.

Демьян просто жил своей жизнью пахаря и руками делал то, что делал вчера и позавчера. И никто, ни единый человек, не сказал бы, глядя на этого ладного, широкоплечего мужика, что на нем уже лежит печать черная.

А далеко, за дремучими лесами да топкими болотами, стояла в тереме Ядвига, глядела в молочный туман, судьбу Демьянову узнавала. Что ей откроется в той мгле — того никому, кроме нее, не ведомо.

Не вели к тому терему дороги — ни конные, ни пешие. Кто пути не знал, тот сгинул бы в трясине и вскрикнуть не успел. А кто знал, тот шел по воде как по половицам, потому что сама чародейка ему ту тропу указала.

О самой Ядвиге правды никто не ведал. Знали только, что давным-давно в лютую зимнюю стужу подкинули дитя грудное к избе стариков Карпа да Марфы. А боле — ни словечка, ни приметы, ни знака. Откуда пришла — молчок, кто родители — темным-темно.

Знали еще, что она здесь — хозяйка. Не по грамоте писаной и не по указу царскому, а по древнему уговору, про который живые и думать забыли. Помнили лишь кости, что в прах давно обратились, да тени, скользящие меж могил.

Хранила Ядвига в Чернокапище прореху межмирья, где свет с тьмой сходится. Стерегла грань, чтоб не раскололась она, не пропустила в мир человеческий то, чему в нем не место. За то ее и чтили, за то и боялись. Ибо кто бережет грань, тот и сам не совсем уже человек.

Прореха та — не ворота широкие и не дверь дубовая, а трещина тонкая, неприметная. Проходила она сквозь Гиблую поляну, через Могильник старый, через Черный колодец да Проклятый овраг — через все места, где кровь невинная лилась.

Если не блюсти ту прореху, станет она шириться. Сперва просочатся сквозь нее тени бесприютные, кому среди живых обитать не положено. За ними холод потянется — не зимний морозец, а тот, от которого душа стынет. А после начнет сочиться то, чему и имени-то в языках людских не найти.

Обрушится тогда на людей мор страшный, падет скотина замертво, сгниют хлебные колосья на корню, а дети мертвыми будут рождаться.

Случалось такое уже не раз, и всякий раз вставала Ядвига над той прорехой. Запечатывала она ее своей волей да силой, а порой и кровью своей и чужой.

Только имелись вещи, над которыми и ее власть не властна. Не могла она зависть обновить, что в сердце братнем зреет нарывом гнойным. Не могла руку с ножом над спящим удержать и заставить людей друг друга любить, а не убивать. Блюла она только равновесие. А равновесие — оно не всегда справедливость. Иногда это лишь отсрочка малая.

Долго у окна Ядвига в то утро стояла. Прищурилась, когда виденье за мглой белесой рябью мелкой пошло. Увидела она, как рука по запястье вышла.

Ядвига не шелохнулась — знала, что сейчас главное откроется.

Снова дрогнула картина перед ней, и тогда увидела она все до конца. Вытянулась рука из земли по самое плечо. Разверзлась земля вокруг, разошелся мох трещинами черными, и ударил из тех трещин свет мертвенный да ледяной.

И в сиянии том неживом все тянулась рука с колечком медным вверх.

«Вот оно, — подумала Ядвига, — и началось».

Еще не свершилось, а только грядет. Не сегодня, так завтра случится беда неминуемая. И человек тот жив еще покуда. Умывается он сейчас водой из лохани, фыркает и отряхивается; идет к скотине своей со двора. И не знает он, что земля его уже ждет, и нож для него уже наточен, и смотрят на него братья кровные уже не как на брата, а как на помеху.

В деревне тем временем, в доме крепком у Черного колодца, мужик молодой и ладный утренние дела закончил. Вывел кобылу, запряг в телегу. У колодца задержался на миг, поправил ведро, что с крюка ржавого сбилось, и, вожжами чмокнув, тронул с места. Женка его, молодка златовласая, на крыльце стояла, рукой ему махала. Обернулся он с улыбкой светлой, кивнул: «К вечеру ворочусь!»

Затянулась мгла белесая, и виденье исчезло.

Ядвига отвернулась от окна, призадумалась. Вздохнула тяжело, головой покачала — никому теперь не остановить того, что грядет.

Потому что в Чернокапище не сказки рассказывают. Здесь живут ими, по ним и умирают.

И из земли сырой по зову встают.

Глава 1. Дом у Черного колодца

Дарьюшка в приметы не верила.

То есть как не верила — верила, конечно. Как все. Но отродясь большого значения им не придавала. Мало ли что тесто не поднялось сколько нужно; мало ли что приснилось; мало ли какая посуда треснула.

В Чернокапище вечно что-то трещит, снится и не поднимается — если на каждую мелочь оглядываться, никаких нервов не хватит.

Но в то утро, когда она замесила тесто, как месила сотни раз до того, — тесто не поднялось. Не то чтобы совсем — поднялось малость, но как-то неохотно, через силу, что ли. Обычно опара вспухала пышной белой шапкой, дышала, а тут легла ровным слоем и затаилась.

Дарьюшка заглянула в квашню, сдвинула брови, перекрестила опару трижды и снова укрыла старым тулупом.

— Ничего, — громко сказала она, себя убеждая в правоте своей. — Бывает. То ли печь нынче не та, то ли мука отсырела. К обеду поднимется — никуда не денется.

Пронесло, кажется, — хлеб получился, как всегда, на славу.

Но когда пришло время резать его — уже готовый, румяный, с хрустящей корочкой, — нож сорвался. Самый обычный нож, которым она резала хлеб каждый день, выскользнул вдруг из руки и полоснул по указательному пальцу — глубоко, до крови.

Дарьюшка не вскрикнула, только замерла и долго смотрела, как алые капли падают на льняную скатерть и расплываются по вышитому краю неровными кругами. Одна. Вторая. Третья. Облизнула палец, слизнула кровь — соленая.

— К худу, — шепнула она, но тут же тряхнула головой, замотала палец чистой тряпицей и пошла к печи.

Глупости. Мало ли кто режется. А после и думать забыла. Как забывают о дурных приметах те, кто верит, что беда в их двор не заглянет.

А сколько Дарьюшка себя помнила, столько их дом и стоял, не шатаясь, не кренясь, не пуская внутрь ничего худого. Держался и дышал глубоко и ровно — так дышит земля после теплого дождя. И верилось, что так будет вечно.

Стоял этот дом у Черного колодца — на закат от Гиблой поляны, на полдень от Могильника, на полночь от Проклятого оврага — в самой сердцевине Чернокапища, где земля человека носит, а человека Бог помнит.

Крепкий дом — всеми ветрами битый-перебитый, всеми дождями мытый-перемытый, ни одной бурей не сломленный. Срублен в лапу — по-старинному, на века, конопачен мхом седым. Тем самым, что старухи по весне на болотах собирали, а потом на солнышке сушили до звонкого хруста. Крыт дом тесом добрым: от времени потемнел, а на срезах серебрится, точно рыба чешуя на ранней зорьке.

Крыльцо — высокое, на трех дубовых ступенях. На каждой — выемка от шагов, за долгие годы протоптанная и примятая. Перила резные с балясинами — их Кузьма-резчик всю зиму вытачивал. На всех балясинах — свой узор: где цветок полевой или птица лесная, а где солнце с лучами, землю греющее и людей радующее.

Наличники на окнах суриком крашены — яркие, алы. Краска не облупилась, не поблекла: Дарьюшка по весне подновляла. Вставала спозаранку, доставала из чулана банку с суриком, раскладывала кисточки на старом пеньке у крыльца да приговаривала ласково: «Ну-ка, поглядим, где поблекло, где потрескалось, где ветерком поободрало...» Руки у ней маленькие, а кистью орудуют споро — не хуже мастера, не тише умелого ремесленника.

На кровле конек деревянный красуется — птица невиданная: голова к небу обращена, крылья вот-вот распахнутся. Только не взлететь ей никогда — корнями вросла в эту землю. Как все в Чернокапище вращалось — от рождения до смерти.

А вокруг дома — тишина звонкая, просторная. Только ветер в траве, только лист на березе дрожит, только небо над головой — высокое, глубокое, глазом не охватишь.

В том доме жил пахарь молодой — Демьян. Жил с женой своей пригожей — Дарьюшкой.

Всяк, кто мимо шел — на мельницу ли, в поле ли, в лес по дрова, — шаг замедлял, чтобы на двор Демьянов поглазеть. Да не из пустого любопытства или черной зависти, а из уважения, что само собой в душе рождается, когда видишь ладное хозяйство.

У Демьяна все прибрано, прилажено, по уму поставлено. Забор ровный — ни доска не покосилась, ни кол не выпал. Ворота на железных петлях, калитка с кованым кольцом, до блеска отполированным — сколько раз Демьянова рука за него бралась! Дорожка от калитки к крыльцу речным песком усыпана — под ногой хрустит, а чисто: ни соринки, ни пылинки.

Поленница у сарая сложена — залюбуешься: полешко к полешку. Березовые, сосновые, ольховые — все своего часа ждут, каждое в печи согреет и накормит. Рядом лопата стоит, колышек с фартуком вбит, веник к стене прислонен, грабли в углу, вилы у сарая в землю воткнуты. Все они смолой и лесом пахнут. Запах тот по двору плывет, смешивается с пряным сеном из конюшни и с теплым хлебом из печи.

А выйдет, бывало, Дарьюшка на крыльцо, несет краюху горячего хлеба. Отломит ломоть, подаст Демьяну и скажет тихо, с лаской:

— На-ка, перекуси малость, пока не остыло, пока румяное, пока духовитое.

Возьмет Демьян хлеб, кивнет благодарно, откусит не спеша и промолвит негромко:

— И правда, хорош хлеб, Дарьюшка. Руки у тебя золотые — не иначе.

— Да что ты, Демьян, — зардеется она и опустит глаза. — Это печка у нас добрая, мука хорошая — вот хлеб и удался.

И улыбались друг другу — светло, без слов. Как улыбаются те, кому для счастья ничего больше не нужно.

Вот так и жили — ладно, дружно, по-божьи.

Демьян из дому выходил с первыми петухами — а петух у него огненный, горластый, с гребнем, на заре угольком вспыхивающим, — и первым делом потягивался так, что кости хрустели от поясницы до шеи, зевал во весь рот, крестя рот ладонью, и шел к колодезю босиком по росе.

Утро выдалось тихое-тихое — даже птицы еще не проснулись. Только роса под ногами, небо на востоке розовеет, сердце стучит ровно и покойно.

Колодезь стоял под старой березой, и та каждую осень листья в воду роняла — вода от того пахла горьковатой свежестью. У колодезца хозяин останавливался, двор привычным взглядом окидывал: проверял, не покосилась ли калитка, не завалился ли веник, не опрокинулась ли бочка с дождевой водой.

Потом наклонял ведро на цепи, слушал, как цепь гремит и поскрипывает о дубовый сруб. Умывался ледяной водой, фыркал, отряхивал руки, растирал лицо и шею грубым холщовым полотенцем, Дарьюшкой постиранным и на солнце высушенным. Полотенце пахло ветром и лугом.

Покончив с умыванием, шел к скотине, и животное встречала его каждая по-своему. Буренка Красава, шаги хозяина слышав, голову поворачивала и мычала низким, утробным голосом. Демьян ей отвечал — не словами, а звуком, мычанием, — гладил по теплему боку, жесткой шерсти, в глаза заглядывал: большие и влажные, с ресницами длинными, с прожилками фиолетовыми на белках.

— Ну что, матушка, — говорил он ласково, — давай-ка подою тебя, а там и в поле пойдем. Хлеб убирать пора: вишь, как колос налился — золотой, тяжелый, того гляди, зерно на землю сыпать начнет. Да и сена запас пополнить не мешало бы: трава нынче густая, сочная.

И Красава, будто понимая, смиренно стояла, пока он доил ее. Молоко звонко ударяло струйкой в дно подойника, пена поднималась пузырчатая, запах шел сладкий и сытный. Закончив, Демьян хлопал корову по крупу, ставил подойник у стены и, отряхнув руки, шел к лошади.

Кобыла Рябка, гнедая, со звездочкой во лбу, заслышав его шаги, начинала перебирать ногами и коситься через плечо. В глазах ее, карих и блестящих, горело нетерпение. Демьян знал уже без слов: торопится, просится на волю, соскучилась по работе. Он чесал ей холку, подтягивал упряжь, висевшую на крюке у входа, и говорил:

— Потерпи, красавица, сейчас запрягу и поедем. В поле надо успеть до жары, а еще и плуг проверить не мешает — не затупился ли за зиму.

Рябка фыркала, тыкалась мордой в его плечо.

— Ну-ка, поглядим, — похлопывал ее Демьян по шее, проверяя подковы, — не ослабли ли тут, не пора ли Михею-кузнецу показать... Все ладно, идем.

Выводил ее из конюшни на двор, и шла она за ним послушно, крупно переступая, звякая удилами. А Демьян затылком чувствовал дыхание ее — теплое, с легким привкусом овса. Запрягал он Рябку споро, сноровисто, все движения отточены с годами: оглобли поднимал, хомут надевал, дугу закреплял и гужи подтягивал. Дело спорилось в руках, и лошадь стояла смирно: хозяин зря не тянет, не дергает, а все по уму делает.

Минута-другая — и готово. Такая тишина вокруг, что слышно, как овод жужжит где-то у плетня.

Управившись, Демьян натягивал армяк, брал кнут — больше для порядка, чем для дела, — и в последний раз оглядывал двор. Солнце только-только поднималось из-за леса, золотило верхушки сосен, протягивая длинные тени через весь двор. Из трубы дома вился дымок — тонкий, прямой, без ветра стоял столбом до самых небес. Дарюшка уже печь растопила, скоро завтрак поспеет. Демьян знал: вернется с поля — на столе и каша горячая, и хлеб свежий, и парное молоко в крынке, синей, с белым ободком по краю.

Садился он на телегу, брал вожжи, чмокал — и Рябка трогала с места. Медленно выводила со двора, к воротам, где на пороге уже стояла Дарюшка. Она выбежала, рукой ему махала, а он улыбался и кивал ей.

Колеса мягко шуршали по пыльной земле, скрипела оглобля, где-то за спиной перекликались птицы. Демьян, шурясь на солнце, думал: день начинается ладно, по-хорошему, и слава Богу за это.

А небо над головой синее-синее, без единого облачка. И поле впереди — широкое, просторное, жизнь впереди — долгая, счастливая. Иначе и быть не может.

У крыльца куры копошились в песке, петух расхаживал важно, поглядывал по сторонам, а кошка, свернувшись клубком на ступеньке, приоткрыла один глаз, следила за хозяином.

Демьян подмигнул жене, махнул рукой на прощание — и направил Рябку на дорогу, что вела через Чернокапище к дальним полям.

А Дарюшка на крыльце стояла, телегу взглядом провожала. Солнышко раннее волосы ей золотило — те, что из-под платка выбивались, ветерок подол сарафана теребил, а на душе — легко и ровно. Так уж завсегда бывало, как Демьян в поле уезжал: и светло на сердце, и тревоги никакой.

Долго стояла, покуда телега за поворотом не скрылась. А как скрылась — все не уходила. Слушала, как ветер в березах шумит, собака где-то далеко брешет, тишина звенит, словно струна тугая. И слышалось в тишине той что-то недоброе, что-то такое, чему и названия нет, и слова не подберешь. Махнула рукой Дарюшка — почудится же...

Не знала она тогда, что один раз он так уйдет и не воротится. Да только то потом будет. А пока день обещал быть долгим да ладным, полным забот привычных. Вздохнула Дарьюшка, перекрестилась легонько и в избу пошла — печь топить, хозяйство глядеть, не подозревая нисколько, что последние часы покоя своего считает.

Глава 2. Дарьюшка-хозяюшка

Пока Демьян работал в поле, его дом жил своей жизнью, и жизнью этой правила хозяйка. Вставала Дарьюшка не спозаранку, не по первой росе, а чуть погода мужа. Не от лени — от обычая: ее дела не на дворе вершились, а в избе, и изба та хозяйку кликала с первым лучом солнечным.

Чуть солнце в оконце слюдяное заглянет, золотые пятаки по полу рассыплет — тут Дарьюшка и слезала с лежанки босая, в одной исподней рубахе. Половицы под ногами поскрипывали, привечая: «Здравствуй, хозяюшка, утречка тебе доброго!»

Она, еще полусонная, первым делом к печи — глянуть в загнетку. Там с вечера горшок с кашей стоял, тулупом старым укутанный. Угли еще тлели, теплились. Возьмет кочергу — та, чугунная, на крюке у печи висит, — и ворошит угли. Рассыплются те алыми искрами, точно маков цвет, вспыхнут на миг и угаснут. Подложит пару поленьев — березовых, сухих, чтоб горели жарко, без дыма. А на лавке уж все загодя припасено: луковица, пучок укропа, соль в солонке деревянной, горсть грибов сухих в берестяной коробочке.

Скинет она тулуп с горшка, приоткроет крышку — пар густой, духмяный — и помешает кашу ложкой деревянной. Соли попробует — хороша ли. Довольная, накроет обратно, и вскоре по всей избе поплывет тепло, дух сытный — топленое молоко с гречкой. Запах тот во все углы забирается, в каждую щелочку.

В углу за печью мыши попискивают — Дарьюшка и ухом не ведет: знает, пока в доме хлеб и тепло, мыши не навредят. А солнце в оконце все играет, на глиняной крынке, что на полке стоит, пляшет. Крынка та поблескивает, точно подмигивает хозяйке.

Умоется Дарьюшка из рукомойника глиняного — висит тот у печи на гвоздике деревянном. Водичка студеная, чистая. Плеснет ее на лицо — капли за ворот сбегают, по шее. Вздрагивает она, смеется. Отрет лицо полотенцем льняным — оно чуть шуршит, травами луговыми пахнет: сама его давеча на солнышке сушила.

Волосы — густые, золотые — в косу туго заплетет, косу через плечо перекинет. Спускается коса до самого пояса, а на конце ленточка алеет — подарок Демьяна с прошлой ярмарки. Глянет на нее Дарьюшка и улыбнется мягко. Повяжет поверх белый платок, по краю петухи вышиты, концы сзади подоткнет, чтоб не мешали, и принимается за тесто.

На столе уж квашня стоит, рядом мука, сито, кувшин с теплой водой, дрожжи в бересте, ложка, соль. Посыплет Дарьюшка стол мукой, просеет муку в квашню, водички дольет, соли щепотку да дрожжей кинет — и давай тесто месить. Руки у нее небольшие, ладони розовые, ногти коротко стрижены, а силушка в них — диво дивное. Месит, мнет, с тестом по-свойски беседует. И тесто под ее руками оживает: дышит, тянется и вздыхает, а после поднимается в квашне пышной, воздушной шапкой.

Пока тесто подходит, Дарьюшка порядок наводит: веником березовым пол метет, крупинки бережно собирает. Потом лавки влажной тряпицей протрет, занавески на окнах поправит, крупу в лукошке переберет, воды в чугуне согреет — к вечеру пригодится. Время от времени на печь поглядывает: заслонку приоткроет, березовых полешек подбросит и следит зорко, чтоб пламя ровно горело и каша не пригорела.

А сама себе под нос напевает песню старинную — тихо-тихо, чуть слышно. Мелодия та с треском дров сливается, с гудением избы, с криком петуха во дворе, с жужжанием мухи у окна — со всеми звуками, что утреннюю песнь ее дома слагают.

Остановится порой, глянет на солнечный луч, что по столу скользит, и улыбнется. Привычные дела, а оттого тем паче милые.

У печи она развешала на веревке льняные полотенца, поправила корзину с сушеными травами — зверобоем и мятой — и тихонько проговорила: «К осени надо еще набрать, не

забыть бы». На подоконной полке стояли глиняные крынки, миски и деревянные ложки — каждая вещь на своем месте.

Провела Дарьюшка ладонью по краю, улыбнулась про себя и снова за дело взялась. А тесто-то дышит, поднимается, и по избе уж разливается дух хлебный — теплый, густой и такой манящий, что ноги сами к столу несут.

Хлеб, что пекла Дарьюшка, славился на всю округу. Старухи, собираясь у колодца, только качали головами и говорили:

— У иной и мука отборная, и печь жаркая, а хлеб выходит кирпич кирпичом. А у этой — точно лебяжий пух, хоть и из ржаной муки! Корка хрустит, а мякиш тает на языке, как мед.

Дарьюшка, слыша такие речи, краснела и прятала глаза, отвечала:

— Это не я, это печка у нас хорошая, мука свежая, руки у Демьяна золотые — он зерно сам сеял и сам веял. Да и мать меня всему научила, век ей благодарна за то буду.

— И мать твоя умела, — кивали старухи, — и ты не хуже. Видно, дело в роду.

Когда Демьян после пахоты возвращался со двора, умытый и причесанный, пахнувший сеном и коровой, Дарьюшка уже накрывала стол. Каша с маслом еще шипела на сковороде, хлеб, нарезанный толстыми ломтями, лежал на деревянной доске, рядом, в миске, мясо лакомыми кусочками пожарено, а в глиняной крынке — молоко с тонкой пленкой сливок сверху. Пара яиц, сваренных вкрутую, с синеватым отливом на скорлупе, лежала на маленькой тарелке. На столе — льняная скатерть, вышитая по краям, две деревянные ложки, солонка и маленький горшочек с медом, ежели кто послаще каши захочет.

Садись друг напротив друга. Демьян, прежде чем ложку взять, глядел на жену долго и пристально, качал головой и улыбался так, будто видел ее впервые.

— Ты чего? — спрашивала Дарьюшка, глаза отводя, и щеки ее румянцем заливались.

— Ничего, — отвечал Демьян. — Гляжу и думаю: за что мне такое счастье привалило? Да еще и хлеб такой — глянь, какой пышный, румяный. Точно солнышко в нем спряталось.

— За то, что работаешь много, а говоришь мало, — хмыкала Дарьюшка и подкладывала ему в тарелку кусок мяса или хлеба побольше, и в глазах ее, синих, как небо после дождя, загорались искорки. — Ешь давай, пока горячее. А то каша остынет — невкусно будет. Да и хлеб, пока теплый, — самый сладкий.

Перед едой Демьян перекрестился, тихо произнес: «Благослови, Господи» — и только тогда взялся за ложку. Дарьюшка кивнула, улыбнулась и тоже перекрестилась. Он ел быстро, голодно, а она глядела на него и молчала. В избе делалось так тепло и хорошо, что даже сверчок за печью заводил свою песню веселее и звонче. Песня та сливалась с тихим потрескиванием дров и с урчанием кошки — та, по своему обычаю, дремала на приступке, свернувшись в тугой клубок.

В этот миг петух во дворе прокричал трижды, а с улицы донесся голос соседа:

— Демьян! Завтра на покос вместе, договорились?

— Договорились, Иван! — крикнул ему в ответ Демьян. — С утра и выйдем! — и снова повернулся к столу — к Дарьюшке, к теплому хлебу и доброй каше.

После завтрака он брал косу или топор и шел в поле или в лес — смотря по сезону — работал до седьмого пота. Спина его, широкая и мускулистая, темнела от загара, на лопатках выступали белые полосы соли. За поясом у него всегда торчал нож в кожаных ножнах, а на плече — холщовая сума с краюхой хлеба, мясом и парой луковиц: на обед, коли время позволит.

Перед уходом по привычке оглядывал двор, проверял, крепко ли заперты ворота, не просел ли где забор.

— Ну, пойду, — целовал жену в щеку. — К вечеру вернусь, а коли задержимся с Иваном на покосе — не волнуйся.

— Иди с Богом. Да смотри, в жару-то не надрывайся.

— Не бойся, — усмехался Демьян, похлопывал себя по груди, — чай, не кисейная барышня — не рассыплюсь.

И шагал к воротам: перекидывал ногу через плетень, выходил на тропу и вскоре скрывался за поворотом. Там березы росли густо, родней дружной, а трава вдоль дороги до колен поднималась, колыхаясь волнами под ветром.

Проводив его, Дарьюшка принималась за домашнюю работу: стирала белье у колодца, терла его на рубчатой доске и полоскала в ледяной воде, а потом развешивала на веревке между двумя старыми яблонями. Те еще отец Демьяна посадил, с тех пор каждый год они давали щедрый урожай. Яблоки падали порой прямо на траву, и Дарьюшка собирала их в корзину — на компот и на сушку к зиме.

Бабы, что приходили за водой, охотно задерживались возле колодца: Дарьюшка умела слушать — не перебивая, не осуждая, — советы давала дельные, сплетен не плела и ни о ком дурного слова не говорила.

Ставили бабы ведра на землю, опирались на коромысла, лбы вытирали и вздыхали:

— Уф, ну и жарища нынче!

— Да, лето в этом году жаркое выдалось.

— А ты, Дарьюшка, глядим, уже все переделала? И белье постирала, и грядки прополола...

— Да что там, дел-то на час, — отвечала Дарьюшка скромно, платок на голове перевязывая. — Зато потом — хоть в поле иди, хоть у печи стой.

Марья, жена кузнеца Михея, поправляя коромысло на плече, говаривала:

— Счастливая ты, Дарьюшка. И муж у тебя золотой, и дом — полная чаша, и сама — и лицом, и душой. Точно цветок луговой.

— Это не я счастливая, Марья. Это муж мой счастливый. Он все и делает: и пашет, и сеет, и дом в порядке держит. Я только рядышком иду.

— Нет, милая, — качала головой жена кузнеца. — Рядом идти — это самое трудное и не всякому справиться дано. Иная и рада бы, да не выдерживает. Вон, у Агаты с Тимохой опять бранятся — он опять за старое взялся, запил и не просыхает. А у вас — лад да мир.

Другие бабы, впрочем, говорили иначе. Соломонида, что жила у мельницы и слыла бабой языкастой — на языке у нее что угодно, а на уме одно: как бы чужое к рукам прибрать, — поджимала губы и цедила сквозь зубы:

— Ишь, разжились. А с чего? Земля у всех одинаковая, а у них урожай гуще, и скотина плодится, и дом — игрушка. Нечисто тут что-то. Присуха, не иначе. Или к ведунье ходила.

Но принародно этого не произносила — боялась: Демьяна в деревне уважали, а Дарьюшку за кротость и доброту жалели. Любое злое слово, сказанное в их адрес, соседи сразу наотрез давали. Соломонида знала: тронешь их — сама же в дурах останешься. Потому и молчала, лишь бросала косые взгляды и шипела себе под нос, когда те мимо проходили.

А бабы, стоявшие рядом с Дарьюшкой, только переглядывались и качали головами:

— Ох, язык у Соломониды что нож — режет без жалости.

— Да пусть себе шипит. От ее шипения ни у кого ни амбар не сгорит, ни корова не заболает.

Дарьюшка лишь улыбалась, развешивала последнюю рубаху, благодарила соседок за беседу и шла к дому. Там ее уже ждали новые дела: то печь растопить, то кур покормить, то в огороде поработать. Она оглядывала двор, вдыхала запах свежескошенной травы и думала: «День добрый, работа спорится, муж вернется — поужинаем, поговорим. А что еще человеку надо?»

А ведь правда. Живи да радуйся, расти хлеб да детей, молись Богу да мужа люби. Так бы и текли их дни — один к одному, светлые и ладные, точно зерна в полном колосе.

Только в Чернокапище долгий покой — редкость.

Уже в темных углах, за плетнями и у костров, люди шушукались. Глаза их жадностью загорались, губы заклятья шептали, и руки к чужому добру тянулись.

Глава 3. Воскресный день

Дом Демьяна не сам по себе стоял, а всей деревней держался — нитью в холстину вплетался. В воскресный день Демьян и Дарьюшка к церквушке путь держали. Церквушка та высилась на пригорке над протокой Кривой — деревянная, с серебряной маковкой и чуть покосившимся крестом, лемехом крытая. Колокол в ней гудел — на три версты слышать: плыл звон над полями, лесами и болотами, в душе покой пеленая.

Перед выходом Дарьюшка сарафан отряхивала, платок поправляла, узелок крепила и четки свекровины в руках перебирала. Демьян рубаху чистую надевал, в порты заправлял, ремнем с пряжкой медной подпоясывался, нож в ножнах проверял. В суму краюху хлеба да два яйца печеных клал — на случай, если после службы с мужиками заговорится.

По пути Дарьюшка подол подбирала, чтобы грязи не набрать, а Демьян шагал, по сторонам поглядывал, знакомым кивал, на поклоны ответ держал. Повстречал их староста Петр Васильевич, поклонился:

— С воскресным днем вас, Демьян и Дарьюшка! Путь вам добрый.

— И тебе доброго дня, Петр Васильевич, — молвил Демьян. — Служба нынче долгая будет: отец Иов проповедь о терпении читать обещал.

— То дело нужное, — отозвался староста. — Терпенье — нам первый помощник.

У ворот храма старуха Агафья их встречала: в чашке глиняной водицу святую подавала, шептала:

— Благослови вас Господь, детки.

Дарьюшка чашку принимала, глоток делала, Демьяну подавала. Тот отпивал, благодарил:

— Спаси Христос, бабушка Агафья.

— Во славу Божию, — крестилась старуха, в сторону отходила.

А в церкви ладаном и воском пахнет, свечи перед образами теплятся, блики на окладах золотых играют. Демьян свечу ставил у Николы Чудотворца, Дарьюшка — у Богородицы. Становились в ряд с народом, слушали чтение, крестились и молитвы шептали.

Хорошо в храме в воскресный день: торжественно и покойно. Слова молитвы сами на душу ложатся, а заботы остаются за порогом — пусть подождут.

После службы Демьян жену под руку брал и выходил на паперть, от солнца щурясь. Так рука об руку и шли они домой через всю деревню. Старики глядели вослед, говорили:

— Вот так и жить надобно: тихо, мирно, честно. И земля отплатит, и Бог не оставит.

— Не то что иные — то бранятся, то дерутся, — добавлял дед Лукьян, на клюку опираясь. — А эти — лад да мир.

Детишки, что у околицы играли, бросали игры, бежали следом, кричали:

— Дядя Демьян, дядя Демьян! Правда, что у вас корова двойню принесла? А правда, что вы амбар новый поставили?

— Правда, правда, — смеялся Демьян, мальчишек по вихрам трепал и яблоки сушеные из сумы доставал. — И еще много чего будет, если трудиться, не лениться. А вы, ребятки, тоже не ленитесь — в поле помогайте, по дому подсобляйте.

— А мы помогаем! — выкрикивал бойкий мальчонка. — Я отцу в огороде грядки копаю!

— И то дело, — хвалил Демьян. — Добрый из тебя хозяин вырастет.

Так и шли, не торопясь, с остановками. Дорога от храма до дома недлинная, а на целый час растягивалась: то с одним соседом перемолвятся, то с другим. Воскресный день — он для того и дан, чтобы душой отдохнуть от забот повседневных.

Дома их встретила тишина — та особенная, воскресная, когда даже половицы не скрипят, а только вздыхают, привечая хозяев. Солнце сквозь слюдяное оконце лилось на пол золотыми

полосами, и в полосах тех плясали пылинки. Пахло воскресным пирогом, оставленным в печи под тулупом, и сушеными травами, что висели пучками у притолоки.

Дарьюшка сняла платок, распустила косу и встряхнула ее. Волосы рассыпались по плечам золотым потоком, до самого пояса. Лента алая соскользнула на пол. Демьян нагнулся поднять, да так и замер, глядя на нее. В глазах его, серых с золотинкой по ободу, разгорался теплый свет. Не тот, что от солнца, а тот, что изнутри подымается, из самой души.

— Что ты? — спросила Дарьюшка тихо и платок на лавку положила.

— Ничего, — ответил он и шагнул к ней. — Просто гляжу.

И столько любви искрилось в его взгляде, что Дарьюшка замерла. Сколько лет прожили, а все как в первый раз.

В избе разлилось безмолвие — только сверчок за печью завел свою песню, но и тот пел тише обычного.

Демьян взял ее за руку. Ладонь у него широкая, мозолистая, пахнувшая деревом и воском, — ладонь у нее малая, теплая, пахнувшая хлебом. Пальцы их переплелись, как корни двух деревьев, растущих рядом, — не разорвать и не отделить.

Он поднес ее руку к губам и поцеловал — не в щеку, а в ладонь, в самое запястье, где жилка бьется, где сердце свой ток по телу гонит. От поцелуя того Дарьюшка вздрогнула и опустила глаза. Ресницы ее, длинные, загнутые, легли полумесяцами на разрумившиеся щеки.

— Устала, поди, — проговорил Демьян. — С утра на ногах: и тесто ставила, и белье полоскала, и в церкви выстояла. Присядь-ка.

Усадил ее на лавку, а сам сел рядом. Положил руку ей на плечо — не тяжело, не властно, а так, как кладут руку на гриву любимой лошади: бережно, с лаской. И плечо под его ладонью дрогнуло и потеплело.

За окном пролетела птица, и тень ее скользнула по стене — быстрая, легкая. Ветер качнул ветку яблони, и лепестки, розовые и белые, посыпались на траву, устлая землю под окном.

Демьян коснулся ее волос. Провел по ним ладонью — медленно, осторожно, будто перебирал струны невидимых гуслей. Волосы под его рукой струились, переливались, и солнечный свет, пробиваясь сквозь оконце, зажигал в них золотые искры. Дарьюшка закрыла глаза, и голова ее сама собой склонилась к его плечу.

— Хорошо, — прошептала она. — Так хорошо, Демьянушка.

— А будет еще лучше, — отозвался он и, легко подняв ее на руки, понес через горницу, а половицы под ногами тихо скрипели.

В горнице — образа в красном углу, лампада теплится, и огонек ее, ровный и тихий, золотит лик Богородицы.

Опустил он Дарьюшку на лежанку — на ту, где каждую ночь спали они рядом, друг к дружке прижавшись. Занавеска сама собой колыхнулась и заслонила их от глаз.

Демьян лег рядом. Провел ладонью по ее плечу — сарафан соскользнул, и плечо обнажилось, белое, теплое. Он поцеловал и плечо, и ямочку у ключицы, и то место, где шея переходит в грудь. Кожа ее под его губами покрылась мурашками и заалела.

Дарьюшка подняла руку и коснулась его лица — провела пальцами по лбу, скуле, губам. Он целовал эти пальцы, каждый в отдельности, а Дарьюшка смеялась тихо, и смех ее походил на звон ручья по камешкам.

— Родной мой, — прошептала она и потянула его к себе.

Демьян склонился над ней. Тени их сплелись на стене, и не различить, где одна, где другая.

За окном яблоня качнула ветвями, и лепестки посыпались на траву гуще и чаще. Солнце, пробиваясь сквозь листву, бросало на пол кружевные блики, и блики эти дрожали и переливались. Сверчок за печью завел свою песню громче и жарче — торопливо, вздохом, точно сам переживал что-то, чего не выразить словами.

Лампада перед иконой затрепетала. Огонек ее затанцевал на фитиле, и тени по углам заколыхались в такт.

Половицы вздыхали — раз, другой, третий. Мерно, глубоко. Сперва тихо, потом чаще, и скрип этот походил на дыхание самого дома — будто дом пел, стены подпевали, печь, еще хранившая утренний жар, вздыхала вместе с ними, и теплый воздух от заслонки струился по полу, смешиваясь с запахом волос и кожи.

Демьян что-то шептал ей на ухо — не разобрать слов, только горячее дыхание и тихий, прерывистый шепот. Дарьюшка отвечала ему — не словами, а движением, и пальцы ее гладили его по спине, по лопаткам. Она тихо вскрикивала и вонзала пальцы в его упругие мышцы ниже спины. Демьян стонал, бурно дышал, и кожа его стала влажной, горячей.

А время текло — не минутами, не часами. Текло оно толчками сердца, и два сердца стучали сперва врозь, а потом — в лад. Стук этот заполнял горницу, отдавался в висках, в запястьях и в кончиках пальцев. Нарастал, и становился все громче, быстрее и на самом пике — замер. Тишина, звенящая и глубокая, повисла в избе.

А потом — выдох. Долгий, единый, на двоих. И все стихло.

Демьян опустил голову на подушку рядом с ней. Грудь его вздымалась и опускалась. Дарьюшка положила ладонь ему на сердце, и оно билось под ее пальцами — сильно, но уже ровнее. Она прикрыла глаза, и ресницы ее, мокрые от слезинок счастья, дрожали.

Кошка на приступке приоткрыла один глаз, дернула ухом и снова зажмурилась. Солнечный луч передвинулся — ушел с пола на стену, со стены на печь.

Демьян гладил жену по голове. Дарьюшка лежала, прижавшись к его плечу, и слезы — не горькие, не жгучие — стояли в уголках ее глаз, но она не вытирала их.

— Что ты плачешь, глупая? — спросил он.

— От счастья. От того, что ты у меня есть.

— А ты — у меня.

За окном все так же падали лепестки с яблони, солнце клонилось к закату, и колокол на церквушке ударил к вечерне — густо и протяжно. Звон тот плыл над деревней, эхо его долетало до дома, и дрожали от него слюдяные оконца.

Дарьюшка поднялась, надела сарафан, заплела косу. Демьян натянул рубаху, подпоясался ремнем. Поглядели друг на друга — и улыбнулись оба.

— Есть хочешь? — спросила она, и в голосе ее зазвенели прежние, будничные нотки. — Пирог-то, поди, уж дошел. С морковью да с яйцом.

— Хочу, — ответил он. — Давай, милая, корми мужика, а то с голоду помру.

Дарьюшка засмеялась — тихим, светлым смехом, и пошла к печи. Достала пирог, поставила на стол и нарезала толстыми ломтями. Сели они друг напротив друга. На столе лежала льняная скатерть, вышитая по краям, две деревянные ложки, солонка и горшочек с медом.

Ели молча, только глазами друг другу улыбались. Да и к чему слова, когда и без них все сказано?

Демьян нахваливал пирог — не словами, а тем, как ел: с удовольствием, с улыбкой, крошки со скатерти собирал и в рот отправлял.

Дарьюшка смотрела на него и думала: «Господи, спасибо тебе за день этот. За все спасибо».

День этот воскресный ничем не отличался от прочих — только свет в избе стоял золотой, и тишина стала мягче. Сверчок за печью пел веселее, кошка спрыгнула с приступка и терлась о ноги, урча.

А лампада в красном углу горела ровно, не мигая. Да только в Чернокапище, где прореха межмирья во всех оврагах дышит и каждый колодец память хранит, — там тихая жизнь долго беспечальной не остается. Где свет — там и тень; где счастье — там и зависть. Уже в темных

углах, за плетнями и у костров, шептались люди: глаза их жадностью загорались, губы заклятья нашивали, и руки к чужому добру тянулись.

— Видала, вышагивают? — шипела Соломонида у колодца, к бабе другой пригибаясь.
— Гордые, важные — точно князя! А чем они лучше нас?

— Да ничем, — поддакивала та. — Только у них все ладится, а у нас — горе да нужда.

— Вот и я молвлю: нечисто тут. Присуха, не иначе, аль заговор какой знают.

А Демьян с Дарьюшкой того не ведали. Жили себе, работали, хлеб растили да детей ждали. Солнцу улыбались, соседям кланялись. Но в чужих сердцах зрели темные думы, и беда неслышной поступью следом кралась.

Глава 4. Зависть

Наступила осень — время ясное, да не для всех радостное. У Демьяна-то, у труженика, амбары ломились — зерно ссыпал, и оно, родимое, на солнышке янтарем переливалось, каждое зернышко ровно слеза счастливая.

А братья его двоюродные, Федька и Гришка, сидели на завалинке у своей лачуги — развалюхи такой, что глянуть страшно: доски на стенах рассохлись, пакля из щелей торчит, крыша просела, черепица осыпалась, того гляди, на голову рухнет. На трубе ворон сидел, черненький, точно головня из костра, и поглядывал на братьев беззлобно.

Сидели они, семечки грызли, лузгу в пыль сплевывали.

День стоял прозрачный, холодноватый. Небо над Чернокапищем синело высоко-высоко, а по нему журавлиные стаи на юг тянулись. Курлыканье их долетало до земли тоскливое, протяжное — прощальная песня по лету красному.

Вдалеке, за околицей, поля виднелись — уже убранные. Только стерня осталась, копны соломы да борозды глубокие, плугом проведенные. Ветер сухую траву шевелил, перекаати-поле по дороге гнал и пыль из-под колес поднимал.

Телеги с урожаем катили мимо — кто на мельницу, кто в город на ярмарку. Каждая, груженная по самую макушку, чудилась братьям личной обидой, пощечиной, плевком в самую душу.

На одной везли снопы ржаные — колосья тугие, налитые, лыком перевязанные. На другой — мешки с картофелем, туго зашнурованные. Третья скрипела под тыквами — крупными, пузатыми, оранжевыми. Мужики на телегах покрикивали на лошадей и, похлопывая их кнутами изредка, гордо улыбались.

Федька, старший, сидел нахохлившись, как сыч на суку, и ковырял грязным ногтем щербину в зубе. Глазки его, маленькие и злые, провожали каждый воз, а в зрачках огонек недобрый горел. Рубаха на нем залатанная, пуговица оторвана, порты с заплаткой на колене и сапоги с расслоившейся подошвой — ни дать ни взять, голь перекатная.

Гришка, младший, пристроился рядышком, хихикал по обыкновению. Лузгу сплевывал — та к подбородку прилипала. За спиной у них калитка на одной петле скрипела, рядом корзина опрокинутая валялась, старая шапка с облезлым мехом да вилы ржавые в пыли.

— Вишь, разжился, хахаль, — бормотал Федька, выковыривая шелуху. — Амбаров ему, вишь, мало. Третий год с прибытком. И кобыла жеребая, и корова стельная, и жена...

Осекся, глянул на Гришку. Глазки в щелках век блеснули, словно нож под луной сверкнул.

— А что жена? — Гришка шею вытянул, и лицо его, дурашливое и вертлявое, вдруг застыло, как если бы маску на себя натянул. — Ты про Дарьюшку-то? Ты про нее что хотел сказать? Ну так говори, коли знаешь чего — мне интересно.

— А то, — Федька сплюнул в сторону, голос понизил. — Идет по деревне — мужики шеи сворачивают, прям гуси на воду. А мы с тобой который год бобылями сидим, трухлявыми пнями, и ни одна баба на нас глянуть не хочет, не то что замуж пойти. Вон Глашка, портниха свиномордастая, — и та нос воротит, будто мы прокаженные какие-то. А Дарьюшка — глянь, какая: и лицом пригожая, и станом ладная, и нравом кроткая, и хозяйка справная. У нее и хлеб пышный, румяный, и щи наваристые, и в избе порядок — все блестит, все на своем месте. А у нас что — пыль да паутина, мыши по углам шмыгают и те голодные, пищат, покою от них нет.

Гришка помолчал, потом вдруг захихикал — тоненько, противно.

— А батяня-то покойный, помнишь, Федька, как нас с тобой жучил? «Вот Демьян и то, Демьян и это, у Демьяна ручки золотые, а вы — обуза, прости Господи!» До самой смерти, до самой могилушки попрекал. Слава Богу, в землю лег, замолчал навек. А Демьян-то что?

Стоял, слушал да помалкивал, в ус не дул. Видать, по нраву ему приходились отцовы похвалы, на нас же и глядеть порой не хотел. Все плевался, бездельниками обзывал.

— Вот именно! — Федька хлопнул себя по колену, аж пыль столбом поднялась. — Почему ему все, а нам ничего? Мы ж не хуже! Мы ж одной крови, от одного корня! А он живет, точно князь, в ус не дует, а мы тут в грязи гнием да поганками на трухлявом пне торчим! Вон, глянь — у него и плуг новый, и борона крепкая, и сани зимние уж готовы, и амбары полны, и скотина сытая. А у нас — дыра на дыре, прореха на прорехе. Забор покосился — чинить некому и нечем.

Гришка перестал хихикать, уставился на брата. В глазах его, обычно пустых и бегающих, мелькнуло нечто острое, злое — то, что долго спало на дне души, а теперь проснулось и зашевелилось шипучей змеей под колодой.

— А что, Федька, — наклонился он к брату, голос уронил до шепота, — ежели бы Демьяна-то... не стало? Куда б его добро пошло? Кому бы его женка молодая досталась? А земля-то — кому отойдет? У него ж надел добрый, плодородный, не то что наш — песок да камни, на нем и рожь не родится, один бурьян. А амбары — глянь, какие крепкие, из дуба рубленные, сто лет простоят. А у нас сарай, того гляди, рухнет да нас же и придавит...

Примолкли братья, переглянулись. А над ними, на трубе, ворон сидел и вдруг каркнет протяжно, тоскливо, будто над покойником...

Сидел Федька, молчал — ни гугу. А сам пальцем щербину в зубе ковырял. И ухмылка у него по лицу ползла — кривая-прекривая. Глянул Федька по сторонам — нет ли кого? Ни души. Тогда и молвил негромко:

— Нам, Гришка, нам все по правде достанется. Мы ж ему ближняя родня, кровь от крови. Кому же еще, окромя нас? По закону, по обычаю старинному — и дом, и поля, и амбары с зерном — все наше будет. И женка его, Дарьюшка, молоденькая... никуда не денется, сама к нам придет, как миленькая. А скотина — корова с теленочком, кобыла с жеребеночком, овцы... Все хозяйство к рукам приберем. И инструмент: плуг, коса, топор — все в дело пойдет. А печь у них, глянь-ка, кирпичная, добрая, не то что наша глинобитная — у той уж все швы потрескались, дым по избе гуляет.

И сварились в их душонках похлебка черная — замысел такой, от коего у человека доброго кровь бы в жилах створожилась, а волосы на голове седыми стали, что иней на березе.

С той поры начали братья к Демьяну шастать пуще прежнего: то соли попросят, то дегтю на телегу, то топорик на точиле наострить. А сами — глазищами зырк да зырк, носами шмыг да шмыг, все примечают: в какой день Демьян в поле выезжает, в какой час в лес за дровами идет, какой дорогой топает, во сколько возвращается, один или с работником. Каждое словечко его, шаг или улыбка — все в их короб злобы падало, все их крутило-вертело, разжигая пуще прежнего ту темную решимость, что зрела в них гнойным нарывом.

И вот однажды приплелся Федька под вечерок воскресный с крынкой пустой. Демьян забор у хлева чинил. На земле упряжь старая валяется, топор у ног лежит, стружки желтые по траве рассыпались.

— Демьян, братец, — жалостливо простонал Федька, глаза пряча, стыдась фальшиво, — нет ли у тебя молочка чуток? Корова наша нынче скисла, молока не дает, хлеба застарелого не с чем пожевать... Да и сметанка, слышал, у Дарьюшки знатная — не уделишь ли баночку?

Демьян молоток отложил, руки о порты вытер.

— Полно, Федька, какие меж родней счеты? Пойдем-ка, надою тебе молочка, хлебца свежего отрежу, сметанки дам, сколь душа просит. А если корова у вас плохо дает — ты погляди, может, травы ей не той задаешь? Я вон на Ольховом лугу клевер кошу — дам тебе снопик, покорми, глядишь, и поправится.

— Да ну, чего уж... — заюлил, замялся Федька, глазками забегал. — Не стоит трудов, братец...

— Эх, — махнул рукой Демьян, — родные мы люди, не чужие. Пойдем, накормлю тебя — нисколько харчей не жалко.

В другой раз Гришка явился. Дарьюшка у колодца хлопотала: выстиранные рубахи на веревку вешала, чистое белишко в корзину складывала. Куры рядом квохтали, петух ходил важный, по сторонам поглядывал и гребнем поводил.

— Дарьюшка, — заюлил Гришка, — а где Демьян нынче сенокосит? Мне бы телегу подправить — оси смазать, дегтю нету. А я, может, и ему подсоблю, коли рядом окажусь...

Дарьюшка глянула зорко и, поправив платок, ответила спокойно:

— На дальнем лугу он, у Ольховой речки. Да не жди его рано — там работы на весь день. Да и помощник у него есть: Михай-кузнец с ним пошел, вдвоем управятся.

— А ты дегтю дать не можешь?

— Нет, не могу, не бабья то забота в мужниных делах ковыряться. Придет Демьян — с ним и сговаривайся.

Гришка покивал, потер руки, пробормотал спасибо и смылся — только пятки засверкали, через плечо все озирался.

На третий день братья вместе пришли — в кафтанишках латаных-перелатаных, сапоги стоптанные, шапки засаленные, старым вороньим гнездам под стать. Демьян с телегой возился — колеса проверял и оси дегтем смазывал.

— А, Федька, Гришка! — обрадовался он братьям родным. — Ну заходите, гости дорогие! Квас холодный как раз из погреба достал, пирог с рыбой остался.

— Да мы ненадолго, — буркнул Федька, а сам на телегу косится. — Глянь-ка, Демьян, колесо у нас на сарае совсем развалилось. Не подскажешь, как поправить? А может, инструментом подсобишь?

— Да чего там, — поднялся Демьян, весь светлый, — я сам приду, погляжу. Завтра поутру и займусь. У меня и доски есть, и гвозди — все сладим, все поправим.

— Ну, спасибо тебе, братец, — хмыкнул Гришка, с братом переглянулся. — Ты уж загляни, не запамятуй.

Демьян же, душа-человек, сердцем чистый и открытый, ровно дитя неразумное, ничего худого не чуял. Братьев принимал с уважением, за стол сажал, хлебом-солью потчевал и все приговаривал:

— Вы ж мне не чужие, вы ж кровь моя родная! Садитесь, ешьте-пейте, чем Бог послал. Дарьюшка нынче щей наварила — пальчики оближешь, пирог с капустой поспел, румяный, пышный, квас холодный в погребе. А завтра, Бог даст, и баньку истопим — попаритесь, отдохнете, косточки распарите...

Братья садились, ели жадно, чавкая и хлюпая. По бородам их текло, они вытирались рукавами. Демьян глядел на них и жалел в мыслях: «Вот ведь — братья, а живут хуже чужих. Помочь бы им, да сами ведь они ленивы и работать не хотят?»

— Федька, Гришка, а давайте вместе завтра на покос? — предложил он вслух. — У меня косы острые, да и лошадь в силе. Поможете — я вас не обижу, харчами обеспечу и на зиму сена сколько нужно отсыплю. А покамест амбар ваш подправить надо — завтра и начнем.

— Да ну, успеется! — отмахнулся Федька. — Мы уж как-нибудь сами.

— Верно, сами справимся, — поддакнул Гришка. — Мы ж не нахлебники какие! Да и дела у нас... неотложные.

— А может, поначалу по грибы смотаемся? — предложил вдруг Федька. — Помнишь, по юности хаживали?

— А что, согласен! — радостно ответил Демьян.

Дарьюшка, напротив, с первого мгновения, только вошли они в дом и уселись за стол, почуяла холодок меж лопаток. Она молча подавала на стол, наблюдала исподволь: как братья

глаза прячут да переглядываются, жадно хватают куски, и пальцы их дрожат, когда берут хлеб, или мясо, или картошку.

Дарьюшка перекрестилась незаметно, руку к груди прижала. Там, под сердцем, билась тревога — неясная еще, но уже липкая, как вечерний туман над Кривой протокой.

Глава 5. Вещий сон

Братья ушли, но холодок, что Дарьюшка меж лопаток почуяла, остался.

Едва за ними дверь затворилась, подошла Дарья к мужу и проговорила ровно, чтоб не обидеть ненароком, чувства родственные не всколыхнуть:

— Демьянушка, милый, не по сердцу мне эти гости, не по нутру. Глаза у них — что у зверя в ночи, улыбки — нож кривой, а речи хоть медом текут, но под тем медком — деготь горький, смола черная. Глядят они на дом наш, точно волки на овчарню, воронье на падаль. Не к добру, Демьянушка, их пожалование, ох не к добру! Чует мое сердце — быть беде. Надо нам поосторожнее водиться с ними...

— Полно, Дарьюшка! — махнул рукой Демьян, а другой за талию жену обхватил и к себе прижал. — Родня — она родня и есть. Мало ли у кого глаза от природы косые, а душа-то светлая? Мало ли кто улыбаться не обучен? Не нам судить — нам с ними век вековать. Одна кровь, одна земля. Да и что они нам, сиротам, сделают? Мы их не бивали, не обижали — за что им нас губить?

— Сердце мне не велит им верить, — вздохнула Дарьюшка, прядь русую поправив. — А ты — хозяин, тебе решать. Только скажу тебе: не всяк родня — друг, не всяка улыбка — радость. Бывает, что и брат хуже врага.

А за околицей, у дуба старого, векового, остановились Федька с Гришкой, оглянулись — нет ли кого — и зашептались:

— Видал, как он нам все готов отдать? — шипит Федька, аж зубами скрипит. — И сено, и доски, и квас, и пироги... А мы ему — нож под ребро. Так ему и надо! Доброта — она, брат, слабость. Добрых-то и дают.

— Истинно, — Гришка кивает, глаз не подымает. — Завтра пойдем и все сделаем...

— Цыц! — Федька его за рукав дернул. — Меньше слов — больше дела. Завтра все и решится. Завтра наш час придет. Пусть не думает, что мы шваль какая-то — мы тоже не лыком шиты.

А Дарьюшка с той поры покоя не знала — ни в рукоделье, ни в молитве. В ту же ночь, утомленная тревогой и думами тяжкими, забылась она сном коротким. И приснился ей сон — страшный, недобрый.

Снилось ей, что стоит она босыми ногами среди леса дремучего — не того, что вокруг Чернокапища растет, а чужого, враждебного, куда нога человеческая не ступала. Воздух там древним ужасом пропах, живого дыхания не принимает.

Деревья росли кривые, скрюченные, ветви их вывернуты неестественно, в муке. Ни одно прямо не стояло — все к земле клонились, точно кланялись божеству невидимому и страшному. Стволы, в буграх и наростах, походили на спины великанов, скрученных вечной мукой. Кора полопалась глубокими трещинами, сочилась из них смола — не прозрачная, не янтарная, а мутная, бурая, густая, запекшейся крови под стать. Капли медленно ползли вниз, оставляли на стволах липкие темные дорожки.

Мох под ногами не зеленел мягким бархатом, а стлался серым, жестким, колючим ковром, истонченным проплешинами. Сквозь них проступала земля — вязкая, чавкающая, на болотную вязь похожая, готовая поглотить целиком. На каждом шагу подавалась вниз, засасывала ступню по щиколотку, а из-под земли пузыри вырывались и лопались со звуком тихим и мокрым.

Холод проникал до костей — не простой, не осенний, могильный. От него немели пальцы, стыло в груди, хотелось бежать, но не бежалось. Ноги двигались медленно, точно сквозь толщу воды пробивались.

Лес вокруг дышал. Не ветер гулял в кронах, не птица вскрикивала в чаще — сам воздух, густой и влажный, двигался толчками, сжимался и разжимался, как легкие огромного, лютого зверя. В лад тому дыханию деревья к земле клонились и снова восставали, и скрип их по лесу протяжным стоном катился. Стон тот нотой низкой шел, в самую глубь земли уходил, от него зубы ломило, а в ушах звон стоял — тонкий, долгий, будто сверлом череп точил.

Шла Дарьюшка, сама не зная куда. Страх гнал ее вперед, держал за горло. Ветки цеплялись за волосы, за подол рубахи — костлявые пальцы с длинными скрюченными суставами. Хватали ее, тянули обратно, шарили по плечам и шее, оставляя царапины, из которых сочилась кровь — настоящая, теплая. От запаха ее к горлу тошнота подступала.

Вдруг деревья расступились — разом, по чьей-то незримой команде — и вышла Дарьюшка на поляну.

Ни травы на ней, ни цветов, ни кустика — одна голая черная земля, маслянисто блестящая в неверном свете. Земля пузырилась и ходила ходуном: под ней что-то ворочалось, огромное и бесформенное, готовое наружу вырваться.

Пар поднимался от земли — не легкий, не туманный, а тяжелый и липкий. В пару плавали неясные очертания: то сгущались в подобие человеческих фигур, то распадались бесформенными клочьями. Исходил от них запах — сладковатый и удушливый, запах тления и сырой могильной земли. От него перехватывало дыхание, мутилось в голове.

Посреди поляны, в центре черного круга, стоял человек спиной к ней. Плечи опущены, руки висят вдоль тела мертвыми плетью, голова склонена на грудь. Вся фигура неподвижная и тяжелая — не из светлого серого камня, не из гранита, а из того черного пористого обуглыша, что находят на старых пожарищах.

Признала его Дарьюшка сразу — по ширине плеч, по волосам, торчащим на затылке, по знакомой рубахе, которую дома носить любил. Сердце ее сжалось, подпрыгнуло к горлу, и Дарьюшка, забыв о страхе и холоде, рванулась к нему.

— Демьян! — ее голос, слабый и дрожащий, разнесся над поляной, но тут же увяз в густом воздухе, точно муха в патоке. — Демьян! Обернись! Это я! Это я, Дарьюшка!

Не шелохнулся он, и тишина вокруг него сгустилась такая плотная, что Дарьюшка испугалась, не оглохла ли она.

Сделала шаг вперед — нога тут же увязла в черной земле по самую щиколотку, и почва зачавкала, зачмокала, не желая отпускать. Рванулась Дарьюшка и, с силой выдернув ногу, сделала другой шаг, третий, четвертый. Земля крепко держала, затягивая ступни все глубже. Но она продолжала идти, разрывая черную маслянистую грязь. Сердце колотилось в груди так, что в горле болело.

Приблизившись к Демьяну, она протянула руку и осторожно коснулась его плеча.

И в тот же миг стал он оборачиваться. Не по-людски, не по-звериному — медленно, плавно, будто тело его не из плоти и костей, а из смолы густой, что на солнце плавится: перетекал из одного облика в другой, стелющимся туманом, что вьется и формы меняет по воле ветра.

Сперва повернулась голова — рывком, неестественно, и хрустнула шея, треснувшую ветку напоминая. Звук хлестнул Дарьюшку по нервам бичом. Потом двинулись плечи, заскрежетали суставы, и скрежет этот, сухой и нудный, под кожу полз, в висках застучал.

Потом, наконец, повернулся к ней всем телом, и увидела она его лицо.

Не лицо Демьяна — не человеческое вовсе. Там, где глаза быть должны, зияли две черные впадины, пустые провалы, бездонные колодцы, уходящие в такую глубину, что дух захватывало. На дне тех колодцев что-то шевелилось, копошилось и смотрело на нее оттуда.

Сочились из впадин не слезы, а земляная жижа, густая и серая, на затвердевшую смолу похожая. Капли медленно ползли по щекам, оставляя грязные мутные дорожки. Там, где они касались кожи, она темнела и рассыпалась трухой.

Нос его провалился, открывая черную дыру с рваными краями. В дыре виднелось что-то белое — не то кость, не то червь.

Рот открылся — не для того, чтобы заговорить, а сам собой, как трещина в пересохшей земле. Внутри, за губами, потрескавшимися до мяса, шевелился язык — не розовый и живой, а серый, распухший, покрытый налетом, похожим на плесень.

И произнес тот рот — не голосом, не шепотом, а замогильным подземным гулом, от которого задрожала земля под ногами, зазвенел воздух, а далекие деревья застонали в ответ:

— Дарьюшка... Зачем не уберегла, отпустила и не остановила?

Отшатнулась Дарьюшка, хотела отвести взгляд и не могла. Черные провалы глазниц держали, приковывали к себе. В их бездонной глубине увидела она вдруг все: Гиблую поляну, серый мох, топор Федьки, взлетающий над головой мужа, нож Гришки, входящий в спину, кровь, хлещущую на мох, пальцы Демьяна, скребущие землю в последней судороге, его глаза — живые, полные недоумения и муки, последний вздох, вырвавшийся пузырем.

— Не ведала я о том, Демьянушка! — закричала она, и голос ее сорвался на визг. — Я бы не пустила! Я бы грудью встала!

Но не слушал он уже. Поднял руку — ту самую, что когда-то нежно гладила ее по волосам. Теперь же рука та, скрюченная и почерневшая, с пальцами, заострившимися, как сучья, потянулась к ней, намереваясь вред смертельный учинить.

— Поздно, — прогудел он, и голос его прокатился над поляной громовым раскатом. — Поздно, Дарьюшка. Кровь пролита. Земля приняла. Теперь ответ держать.

Попятилась Дарьюшка, но увязли ноги ее в земле по колено — не могла с места сдвинуться. И стал мох под ее ногами мокрым и теплым. Опустила взгляд — стоит по колено в крови. Алая, свежая, парная — только что из жилы хлынувшая — прибывала, поднималась и заливала поляну. Отражались в ней кривые деревья и черное небо без звезд. Горячая — обжигающе горячая — пахла железом, острым и удушающим. Пар от нее шел, и в пару метались тени — не те, что прежде, а новые, страшные, с оскаленными ртами и пустыми глазницами. Тянули они к Дарьюшке руки и смеялись беззвучным жутким хохотом.

Крик застрял в ее горле острым и твердым комком. Хватала она воздух ртом, а вдохнуть не могла. Кровь поднималась до груди, жар ее внутрь проникал, сердечко заходило в бешеном ритме, готовое вот-вот выскочить.

А Демьян все стоял перед ней, тянул к ней руку, и в черных провалах его глазниц разгорался огонь — красный, кровавый...

Пробудилась Дарьюшка в холодном поту, с мокрыми от слез щеками. Сердце в груди колотилось птахой, в силоч попавшей. Руки дрожали, во рту пересохло так, что язык прилип к небу. Долго лежала она с открытыми глазами, слушала ровное дыхание спящего мужа и не решалась даже перекреститься, чтобы ненароком его не разбудить. В избе тихо — лишь сверчок за печью тихонько стрекотал, и где-то вдалеке, за деревней, тревожно выла одинокая собака.

Потом все же перекрестилась мелко, трижды, шепнула чуть слышно: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа...» — и перекрестилась еще раз, осторожнее, боясь, что скрипнет кровать, зашуршит солома в матрасе, потревожит сон Демьяна. Тихонько прижалась к широкой спине мужа, уткнулась лицом меж лопаток и прошептала — так тихо, что звук тонул в ночной тишине:

— Господи, отведи беду, Господи, сохрани раба Твоего Демьяна. Господи, я все сделаю, все стерплю, только отведи. Не дай свершиться злу, не дай исполниться коварству, не дай темной воле взять верх над светом. Укрой его крылом Своим, как мать укрывает дитя от грозы, дуб укрывает птенцов от бури. Пусть минует его опасность, пусть обойдет стороной лихо, пусть останется он цел и невредим. А я — я буду молиться, терпеть, ждать и беречь наш дом. Буду любить его крепче камня, железа, самой жизни. Только сохрани его, Господи, не оставь...

Скатила слеза по щеке, упала на спину Демьяна — не шелохнулся он, дышал ровно, спокойно. Вздохнула Дарьюшка, сглотнула ком в горле и, поправив край одеяла, натянула его повыше.

Заснула под утро, но сон пришел пустой — ни образов, ни видений. Вздрагивала она во сне, сжимала пальцами край одеяла, шептала беззвучно: «Держись, Демьянушка, держись, родной...» — и тут же обратно в бездну проваливалась, покуда первые лучи рассвета не коснулись оконницы и не прочертили на полу тонкие золотые нити зари утренней.

Глава 6. Братья по крови

Рассвет над Чернокапищем вставал неласковый, сизый и пасмурный — не дал Бог в сей день погожего утречка.

Солнышко, по-осеннему низкое, пробилось сквозь тучи не золотым колесом, не ясным оком, а выплыло мутным пятном — слепым и белесым, точно взгляд старого пса, что доживает последние деньки в слепоте тоскливой. Легли те лучи на траву не светом, а желтизной болезненной, чахоточной.

Морщилась земля-матушка от того утра, не хотела его принимать, и каждая травинушка к земле гнулась, росинка не сияла алмазом, а мутнела слезой горючей, упавшей в пыль.

Ветер тянул с востока — с той стороны, где Могильник, и нес с собой запах гари: далеко, за болотами, за Черным Зыбуном, горели торфяники, и горели они, люди старые сказывали, не первую уж неделю. Дым тот, смешавшись с утренним туманом, окутывал деревню серой, влажной пеленой, что лезла в глаза, в горло и в самую душу; першило от нее в носу и кашлять хотелось беспрестанно. Стал воздух плотным и недобрым, пропитанным чужой бедой, что идет оттуда, где огонь-пожиратель саму землю жрет.

Тишина над деревней стояла такая, что слышно, как за три двора собака во сне вздохнула.

Демьян поднялся с лежанки затемно, еще петухи не пели. Оделся молча, на ощупь, чтоб не греметь пряжкой, не скрипеть половицами и жену не разбудить.

Натянул порты суконные, рубаху холщовую — ту, что Дарьюшка накануне простирала, у печи высушила; пахла та рубаха щелоком и вольным ветром. Опясался кушаком плетеным, проверил нож на поясе — не для драки или дела лихого, а по привычке мужицкой, родовой. В лесу без ножа — никуда: гриб срезать, палку обстругать, а случись что — и от зверя отбиться. Сапоги натянул, притопнул, проверил — не натер ли где, портянки оправил, чтоб не сбились в дороге.

Уже к двери повернул, за скобу взялся, и тут за спиной его не то всхлип, не то стон, не то вздох тяжелый, тихий и сдавленный, как у раненой птицы, что забилась в траву, а взлететь не может.

Замер Демьян. Рука на скобе дрогнула. В горнице — тишь, только половица где-то осела со стоном, точно живая.

Дарьюшка не спала. Лежала с открытыми глазами, глядела в потолок. В глазах ее, широко распахнутых, сухих и блескучих, отражался слабый огонек догорающей лучины. А еще такое, чего Демьян отродясь не видывал: застывшее, окаменевшее в зрачках предчувствие — такое, что ни обойти, ни объехать, сколько ни молись, ни крестись.

Наклонился он к ней, хотел поцеловать в лоб на прощанье. А она вдруг вскинется — схватила его за шею обеими руками, прижалась щекой к его скуле. И почувствовал он, что щека ее мокрая — слезы по ней текут беззвучно и безостановочно.

— Ты чего, Дарьюшка? — спросил он шепотом и свободной рукой погладил ее по волосам, что рассыпались по подушке золотыми прядями. — Чего слезы льешь ни свет ни заря? Рассвет на дворе, мне идти пора, а ты плачешь, будто на войну меня провожаешь.

— Сон мне, Демьянушка, приснился — дурной, страшный, каких я отродясь не видывала и врагу не пожелаю.

— Да брось, милая, что снилось-то? Расскажи, авось не сбудется.

— Снилось поляна страшная, и земля на ней черная, маслянистая. Мох не зеленый, не серый — красный, ровно кровь. А деревья окрест стоят кривые, скрюченные, тянут к тебе ветки — руки костлявые. Ты стоишь посреди той поляны ко мне спиной — плечи опущены, руки плетью висят. И сколько я тебя ни зову, ни кричу — ты не слышишь, не оборачиваешься. А потом обернулся — и нет у тебя глаз, Демьянушка! Нет глаз — одни провалы черные, пустые,

и из тех провалов течет не слезы — жижа земляная, серая и густая. Говоришь мне голосом не своим: «Зачем, Дарьюшка, не уберегла? Зачем отпустила?» И мох под ногами моими делается мокрым и теплым. Опускаю взгляд, а там не мох вовсе — там кровь. По самую щиколотку кровь. И прибывает она, прибывает, уж до колен доходит. Пахнет железом, обжигает холодом...

Смолкла. В печи уголек треснул резко, как сучок под ногой. Мышь заскреблась под половицей, затихла. А потом снова — ни звука.

Демьян отшутиться попытался:

— Во страсти-мордасти какие, нарочно не придумаешь!

— Ой, милый мой, родимый, не ходи ты нынче в лес, Демьянушка, не ходи! Чует мое сердечко — не к добру все это. Чует — беда за порогом стоит, ждет тебя, поджидает.

— Да как же не ходить, Дарьюшка? — тихо возразил Демьян, голос его струной недовольной чуть дрогнул, но он тут же взял себя в руки. — Ведь братья уж, поди, у околицы ждут. Уговор был на зорьке — вместе идти, да пораньше, пока роса не сошла. Грибы-то ранние, они к полудню уже прятаться начнут, под листву и мох хорониться.

— А пусть подождут! Пусть хоть день подождут, Демьянушка! Один день — много ли? От них не убудет. Зато сердце мое успокоится, душа отгадет. А то ведь чую я — не просто так тот сон приснился. Не от капусты, не от печки, а сама земля предупреждает. Она ведь все видит, все помнит...

— Да полно тебе, милая, — Демьян погладил ее по щеке, вытер большим пальцем слезу, что по лицу ее скатилась. — Неужто я впервой в лес иду? Сколько раз ходил — и с отцом, и с братьями, и один бывало. И всегда цел возвращался. А сны — они ведь как ветер: глаза открыл и все забыл. То радость сулят, то беду предвещают, да только редко когда в точку попадают.

— В том-то и дело, — она за руку его схватила, сжала крепко, так что пальцы ее дрожали. — Не первый раз мне такие сны снятся. Помнишь, как отец твой хворать начал? Мне за неделю до того видение было: будто дуб старый рушится, а ветви его на меня падают. А как соседский дом сгорел — снилось мне пламя, что из колодца бьет. Я тогда не поняла знамения, не предупредила... и чем обернулось?

— Ну-у, — протянул Демьян, и в глазах его мелькнуло сомнение. — То было другое. А тут — грибы всего-навсего. Да и лес наш — он добрый, своих не губит. К тому же, кто ж братьев подведет? Они ведь на меня надеются. Бросить их одних — грех это, сама все понимаешь. Да и прокормить семью надо. Грибы нынче дорогие, на базаре за них хорошую цену дают.

— Деньги — они придут и уйдут, — прошептала Дарьюшка, опустив глаза. — А ты у меня один. Живой и здоровый. Разве не дороже это всякой прибыли?

Долгая потом вышла пауза. За окном ветер качнул ветку — тень на стене дернулась, как живая.

Демьян помолчал, и рука его, гладившая ее волосы, на миг замерла. Слова жены пали в душу, точно камни в воду, — пошли круги, и на дне души что-то шевельнулось, смутное и темное, как тень рыбины в омуте глубоком. Вспомнились ему вдруг слова старика Корнея: «Земля тебя любит, парень. А кого земля любит — тому вдвойне беречься надо».

Потряс он головой, отогнал наваждение. Улыбнулся, но улыбка вышла не та, что всегда, — натянутая, что сродни тетиве перед выстрелом.

— Глупости, — сказал он и поцеловал ее в макушку. — Сны — они от печки жаркой или от капусты на ночь. Думать про них нечего. По грибы идем с братьями — что в лесу приключиться может? Братья хоть и бесшабашные, а свои люди, кровная родня. За мной присмотрят, и я за ними. К вечеру вернусь с полным лукошком — ты мне таких пирогов с грибами напечешь, пальчики оближешь. Договорились, милая?

Дарьюшка разжала пальцы медленно, нехотя. Рука ее, отпустив ладонь мужа, упала на одеяло. Ничего она больше не сказала, только проводила его взглядом до двери.

В сених Демьян на миг задержался. Снял с гвоздя отцовский плащ, встряхнул — пахло овчиной и дымом. Повесил обратно. Утро, хоть и пасмурное, обещало теплом порадовать. Скрипнула половица под ногой — та, что Дарьюшка все просила перестелить.

Когда он в сени вышел, она на локте приподнялась, перекрестила его в спину мелко и часто, крест за крестом. Губы ее сами собой зашептали молитву старую, бабкину, ту, что еще прабабка ее прабабку учила в темные времена:

— Матушка-земля, укрой родимого, сохрани от зверя лесного, от ножа стального, от слова злого, от глаза черного. Отведи беду-кручину, не дай сгинуть в чаще, не дай пропасть без вести. Верни домой живого и невредимого. А я уж отмолю, отплачу, отслужу...

Голос ее все тише, тише, вскоре и вовсе стих — только губы шевелились.

А Демьян уже шагал по росе к околице. Сапоги его оставляли в траве влажной следы темные, и те следы тотчас наполнялись водой. В каждом следке отражалось небо серое, хмурое — сама земля-матушка провожает его и запоминает каждый шаг.

Остановился у колодца. Зачерпнул воды, напился — зубы заломило от холода. Вытер губы рукавом, глянул вдоль улицы. Ни души. Вдохнул и дальше зашагал.

У околицы, где дорога уходит в поле и теряется в утреннем тумане, ждали его братья. Федька стоял, уперев руки в боки, дышал тяжело, с присвистом. Лицо его, багровое и одутловатое, лоснилось от пота — хоть утро стояло прохладное. Видать, с вечера браги перепил для храбрости, и теперь храбрость та сочилась из него вместе с перегаром.

Запах тот Демьян еще издали учуял, поморщился.

Гришка топтался рядом, по привычке своей переминался с ноги на ногу, взглядом метался по сторонам — дерганный, бегающий, как у вора на ярмарке. Корзины они с собой прихватили, да только те корзины — лукошки драные, в грязи измазанные, с краями обломанными. Ножи на поясах болтались — длинные и тяжелые, явно не для грибов. Кто ж по грибы ходит с ножом? Гриб из земли выкручивают пальцами, бережно, чтоб грибницу не повредить. А с ножом ходят по иной надобности.

Демьян замедлил шаг. Три шага осталось меж ними. В утреннем тумане братья чужими ему почудились. Не те, с кем рос, с кем делил краюху и помнил еще беззубый смех.

— Здорово, Демьян! — гаркнул Федька, оскалился, и оскал его вышел кривой, волчий, с зубами желтыми, меж коих табачная крошка застряла. Из рта дохнуло кислятиной, и снова Демьян невольно лицо отворотил.

— Ну что, брат, готов? Грибы-то сами себя не соберут! Утро доброе, роса не обсохла, самое грибное время! Пошли, покуда солнце не припекло, и лес влажный, и гриб из земли прет густой опарой из квашни!

— Здорово, если не шутишь, — спокойно ответил Демьян, поправил кушак, проверил, хорошо ли держится за пазухой краюха хлеба, мясца кусок — то, что Дарьюшка с вечера завернула в чистую тряпицу. — Ведите, братья. Вам виднее, где те боровики высыпали. Я в той стороне давно не хаживал — все работой да работой занят, дороги и не упомяну. А грибы нынче нужны — зима долгая, без запасов худо.

— Найдем, не бойсь! — хохотнул Гришка, подмигнув Федьке. — Такие места знаем, куда никто не ходит, где грибов — что грязи! Где боровики с кулак, а рыжики — с ладонь! Запасешься на всю зиму, еще и останется!

То подмигивание, быстрое и нервное, не укрылось от Демьяна, да не придал он ему значения: мало ли отчего у человека глаз дергается — может, недоспал или выпил лишнего, а может, просто нрав такой суетливый.

Даже в мыслях Демьян не держал в момент тот, что та тропа — последняя в его жизни. Лес, что сотни раз встречал его знакомым шелестом да птичьим гомоном, нынче укроет навеки.

А братья, что рядом шагают, уже не братья.

Палачи.

Глава 7. Гиблая поляна

До Гиблой поляны часа два ходу — сперва полем, потом выгоном, а затем лесом.

Над полем еще туман лежал — низкий, слоистый, точно скисшее молоко в плошке.

Пошли они втроем через поле, а поле-то недавно золотом пшеничным красовалось, ныне ж лежало под паром, стерней колючей стлалось, ноги кололо. Ветер гулял по нему вольно, беспрепятственно, нес запах земли сухой и полыни горькой. Перешли выгон, где скотина деревенская, еще пастухом не выгнанная, дремала под навесом. Ни одна корова не промычала им вслед, ни одна овца не заблеяла. И та тишина показалась Демьяну странной, но он и тут отмахнулся: рано еще, мол, вот и молчат.

А тишина та не сонная — сторожевая. Скотина не спит — прислушивается.

За выгоном лес потянулся — сперва светлый, березовый, с белыми стволами и листьями золотыми, что уж облетать начали, кружась в воздухе монетками легкими. Солнечные пятна лежали на траве, птицы щебетали в кронах, кузнечики стрекотали над полянами. Дышалось легко, привольно — запах прелой листвы и сырости грибной голову кружил.

Демьян даже заулыбался. Ох, хорошо в лесу-то. С детства любил здесь бывать.

Шагал он широко, с охотой ноги разминал, поглядывал по сторонам, примечая все вокруг. Вот дуб-великан, что стоит тут, почитай, лет триста, а дальше овраг, малиной заросший. Чуть поодаль родник, что бьет из-под корней и никогда не замерзает. Места знакомые, сотни раз вдоль и поперек исхоженные.

Но чем дальше в лес они углублялись, тем больше менялось все окрест. Березы понемногу уступали место елям, а ели стояли все выше, темнее и гуще. Смыкали над головою лапы мохнатые, заслоняли небо, так что солнечный свет уж не проникал сквозь них — только угадывался где-то наверху смутным зеленоватым свечением. Трава под ногами редела, и вместо нее стлался мох — сперва зеленый и мягкий, пружинящий под сапогом, потом серый и жесткий, с бурыми проплешинами, как короста на теле больного зверя. Земля делалась мягче, влажнее, сапоги начали чавкать по ней, проваливаясь все глубже, и с каждым шагом ноги тяжелели, будто к ним по мешку с песком привязали.

Остановился он, прислушался. Птицы замолкли. Не просто притихли на время, а замолкли совсем, разом. Следом наступила тишина — нехорошая, неестественная, со скрытым напряжением.

Демьян поднял руку — знак братьям подал: стойте. Замерли все трое. Стоят, слушают. Ни звука. Даже ветка не скрипнет.

— А птицы-то замолкли, слышь, Федька? — повернулся Демьян к брату. — И кузнечиков не слышать. Не к добру это. В лесу такая тишина — значит, зверь где-то рядом или еще что похуже. Может, воротимся?

— Ерунда! — отмахнулся Федька и потянул его за рукав. — Осень на носу, перелетные к югу потянулись, а те, что остались, линять начали — им не до песен. А кузнечики от холода немеют, им тепло для стрекота нужно. Не выдумывай, Демьян, не трусь раньше времени, а то до поляны так и не дойдем!

Сказал и руку с рукава убрал быстро, словно обжегся.

— Да не в том дело, — нахмурился Демьян, не сдвинувшись с места. — Не так тишина эта звучит. В ней... пусто что-то. Будто не просто птицы смолкли, а сам лес дышать перестал. И воздух какой-то густой стал, в груди давит.

— Ой, да ты, брат, наслушался старухиных сказок! — хохотнул Федька, но смех его вышел нервным, коротким.

Он почесал затылок и добавил уже серьезнее:

— Ну ладно, поглядим. Давай, шагай вперед, а я следом. Чего топчемся?

— А ты сам-то не чуешь? — Демьян обернулся к нему, вглядываясь в лицо брата. — Ноздри раздуй, вдохни поглубже. Не пахнет ли чем? Не тем ли, что в погребе старом стоит, где картошка гниет? Или как после грозы, когда земля сырость отдает, только... злее, что ли.

Федька приняхался, поморщился, но тут же отмахнулся:

— Ветер, должно, с болота тянет. Там всегда такая гниль стоит. Ничего страшного. Пошли, а то и впрямь до вечера не доберемся.

— Болото-то в другой стороне, — тихо произнес Демьян. — Ветер с севера дует, а там — поля да перелески. Откуда ж ему, гнилоственному, взяться?

Федька замер на миг, огляделся по сторонам, невольно понизил голос:

— Ну... может, зверь какой сдох где. Или дерево старое сгнило. Мало ли причин? Мы ж не ученые, чтоб каждую приметку разгадывать. Грибы-то сами себя не соберут. Давай, не томи!

Демьян еще секунду помедлил, потом вздохнул, кивнул и шагнул вперед. Но шаг вышел осторожным, неуверенным — не таким широким и бодрым, как прежде. Оглянулся через плечо на брата, бросил коротко:

— Ладно. Но если еще что не так покажется — сразу обратно поворачиваем. Договорились?

— Договорились, договорились, — торопливо согласился Федька, явно радуясь, что спор окончен. — Пошли уже.

Гришка ничего не сказал — только хихикнул сзади. И смешок тот разнесся меж черных стволов, а вернулся искаженным эхом, незнакомым, будто смеялось несколько человек, и смех их звенел в ушах невесело, злобно.

Демьян потряс головой, отгоняя навязчивые мысли, и зашагал дальше. Внутри у него уже зародился червячок сомнения — маленький, холодный, склизкий. Шевелился тот червячок и рос, прогрызая дыру в недавней уверенности. Снова всплыли в памяти слова старика Корнея: «Не все то добро, что добром прикидывается, и не всякий брат — брат». Тут же всплыл сон Дарьюшкин: поляна, и земля черная, и мох красный, и он стоит к ней спиной, и глаза его — пустые провалы. Мотнул он головой, зашагал быстрее, догоняя Федьку.

А лес тем временем делался все гуще и темнее. Деревья стояли уже не ели, не сосны — какие-то уродливые, скрюченные, с ветками, вывернутыми под неестественными углами. Кора на них лопнула не от мороза, не от старости — вскрылась рваными ранами, и из ран тех сочилась смола. Да не янтарная и не прозрачная — бурая, мутная, под стать запекшейся крови. Пахло от нее не скипидаром, не хвоей, а чем-то сладковатым и приторным — так пахнет мертвечина на поле брани.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.